

Юрий Михайлик

Только новое

* * *

Можно медленно жить, постепенно
уходя в полутьму налегке,
как морская веселая пена
растворяется в темном песке.

Побережье. Мы все – побережье,
и куда бы нас ни занесло,
мы где прежде и с теми, кто прежде
окунал в эту вечность весло.

Не судьбою, о нет! – но собою,
на рыбацьем откосе пустом
ритм дыхания с ритмом прибоя
совпадает, не помня о том.

Не ищи, мы следов не отыщем,
это врезано в нас – как стилем –
то ли греческим лодочным днищем,
то ли чаячьим острым крылом.

Не спеши, здесь нельзя торопиться.
Это небо в сплетенье ветвей,
этот берег, и камни, и птицы –
стоят крови. Но только своей.

* * *

На обратном пути по прибрежной фонтанской дороге,
чуть подсвеченной снизу прибойной неровной каймой,
отраженной вверху, где разбойничий месяц двурогий
тянет тонкий, небрежный, прерывистый след за кормой,

позади в темноте разогретая глина обрыва
посылает вдогонку за нами избыток тепла,
и отгонные ветры над черным сияньем залива
убирают морщины, разглаживают зеркала.

Повторяется все и двоится, – не ждите, не скоро –
через тысячи лет аргонатов литые следы
принесет на песок легковерным потоком Босфора
и угонит в Элладу глубинным уходом воды.

Прочтено и записано, стерто и снова забыто,
этот берег оплыл и под гуннским копытом зачах...
Да и как угадать, что ушедшая рыба-бонито
и дельфиний плавник, словно парус, возникнут в ночах?

1.

Города, расположенные по краям земли,
погружаются в море, тонут, как корабли.
Финикийские, греческие, сарматские города –
и ни праздновать там, ни пьянствовать никому никогда.
Потому что масло прогоркло, прокисло вино,
а самим амфорам, в сущности, все равно,
в котором веку и с какой задачей
их поднимут на свет, похваляясь удачей,
и лишь наверху, при телекамерах, на свету, извне
обнаружат, что истина не в вине,
да и древность – лишь повод для удорожания,
а форма сама и есть содержание,
поскольку все, что было внутри,
давно прокисло – как ни смотри.

Наши когда-то любимые города
ушли на дно, их покрыла вода
наших когда-то любимых морей,
и северный ветер, когда-то Борей,
охлаждает лица, прилетев издаля,
матросов утонувшего корабля.

2.

Сквозь мелкую рябь воды кто бы увидеть смог
жизнь в плюсквамперфекте, легкий ее дымок.
Словно в детской присказке растворяется под водой
то, что было победой, обидой, бедой,
улицы, лестницы, белый огонь в ночах,
позабытые руки, все еще лежащие на плечах,
а на все, чем жил, что успел, что натворил,
опускается темное плотное облако – это ил.
Чтоб батискаф прожектором с океанского дна
считывал круглые горы или бывшие письма, на
каком языке – олхой или санскрит? –
специалист догадается, но никто уже так не говорит.
Города уходят на дно, их очертания смягчает ил,
в темных улицах шастают темные рыбы, но эту улицу я любил.
Там, светясь, колышется память – теченье ее шевелит.
Извините нас, доктор Вегенер, угадавший тектонику плит,
и когда океанский цунами извергает глубинный свет,
это вовсе не к нам, не с нами, нас давно уже нет.

* * *

Полуночного моря сияние,
полуночного неба экран,
и рукою подать – расстояние
до любых экзотических стран.
А в тумане, огнями распоротом, –
расставания ломкий ледок,
там плывет над исчезнувшим городом
теплоходный отходный гудок.

Улетают над памятью давнюю,
над прошедшею жизнью моей,
не вернувшись из дальнего плавания,
капитаны открытых морей.
Улетают над темными водами –
вы не знали таких моряков –
молодые, бесстрашные, гордые –
Голубенко, Никитин, Дашков.
Вспомни всех, кто во мраке разглядывал
проблесковый огонь маяка,
кто чужие созвездья угадывал
из-под ллойдовского козырька.
Эта жизнь – от киля и до клотика,
если память как якорь поднять,
извините, такая экзотика, –
никому на земле не понять.
Тьма бездонная. Море бессонное.
Может, что-нибудь да сохранит
под асфальтами и под бетонами
синеватый портовый гранит.

